

ПЛАТОН

ФЕДОН

Диалоги

Платон

Федон

«РИПОЛ Классик»

УДК 11
ББК 87.3

Платон

Федон / Платон — «РИПОЛ Классик», — (Диалоги)

Федон — один из диалогов Платона. Назван по имени сократовского ученика Федона, основателя Элидо-эретрейской школы. Он и Эхекрат являются участниками диалога. Согласно диалогу, при казни Сократа присутствовали Федон, Аполлодор, Критобул с отцом, Гермоген, Эпиген, Эсхин, Антисфен, Ктесипп, Менексен, фиванцы Симмий, Кебет, Федонд, мегарцы Евклид и Терпсион. Имея целью описать последний день жизни Сократа, диалог содержит его попытку доказать своим молодым ученикам, что его душа переживёт его тело и после смерти будет путешествовать по прекрасным местам.

УДК 11
ББК 87.3

Содержание

ФЕДОН	5
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Платон ФЕДОН

ФЕДОН

В диалоге участвуют

СОКРАТ

ЭХЕКРАТ из Флиунта, пифагореец

ФЕДОН из Элиды

**АПОЛЛОДОР КЕБЕТ, СИММИЙ,
фиванцы, ученики пифагорейца Филолая**

КРИТОН – афинянин, друг и ученик Сократа

ПРИСТАВ КОЛЛЕГИИ ОДИННАДЦАТИ СУДЕЙ

Эхекрат. Сам-то ты, Федон, был у Сократа в тот день, когда он в темнице выпил яд, или слышал об этом от кого другого?

Федон. Я там был сам, Эхекрат.

Эхекрат. Что же говорил этот человек перед смертью? И как скончался? С удовольствием послушал бы. Вот уже давно никто из флиунтян не переселялся в Афины, а из Афин с тех пор не приезжал ни один гость, который мог бы нам рассказать об этом ясно, – по крайней мере более того, что Сократ выпил яд и умер; о прочем же ничего не говорят.

Федон. Так вы не знаете и о том, как происходил над ним суд?

Эхекрат. Да, нам кто-то сказывал, и мы еще удивлялись, что он умер, кажется, спустя много времени по окончании суда. Отчего это было, Федон?

Федон. Это зависело от случая, Эхекрат. Случилось, что накануне осуждения увенчана была корма корабля, который афиняне отправляют на Делос.

Эхекрат. А что это за корабль?

Федон. Это, по словам афинян, тот корабль, на котором Тесей, привезши некогда на Крит известных четырнадцать человек, и их спас, и сам спасся. Рассказывают, будто афиняне в это время дали обет Аполлону, что они будут ежегодно отправлять в Делос священное посольство, если спутники Тесея спасутся. Такое-то посольство они всегда и отправляли, да и ныне еще ежегодно отправляют. Когда же наступит этот праздник, по их закону, город соблюдается

чистым и публичных смертных казней не совершается, пока корабль не достигнет Делоса и не приплывет обратно. Иногда, если путешественников задерживают встречные ветры, это плавание совершается долгое время. Праздник начинается, как только жрец Аполлона увенчивает корму корабля, что случилось, как я сказал, накануне осуждения. Поэтому в темнице промежуток между осуждением и смертью был для Сократа продолжителен.

Эхекрат. Так что же скажешь ты о самой смерти его, Федон? Что было говорено и сделано? Кто из близких людей находился при этом человеке? Или властители не позволяли приходить к нему и он умер, не видя друзей?

Федон. О нет, с ним были некоторые, даже многие.

Эхекрат. Постарайся же рассказать нам обо всем сколь возможно подробно, если ничто не отвлекает тебя.

Федон. Сейчас я свободен и расскажу вам тем охотнее, что и для меня нет ничего приятнее, как вспоминать о Сократе, сам ли говорю о нем или слушаю другого.

Эхекрат. Да и в слушателях своих, Федон, ты найдешь людей, подобных тебе, так постарайся же объяснить нам все насколько можешь обстоятельнее.

Федон. Находясь у Сократа, я испытал что-то удивительное. Во мне даже не пробуждалось и сожаления о друге, в то время как он был столь близок к смерти. Он казался мне, Эхекрат, блаженным – и по состоянию его духа, и по словам; он умирал столь бестрепетно и великодушно, что самое его нисхождение в преисподнюю, думал я, совершается не без божественного удела, что и там он будет счастливее, нежели кто-либо другой. Все это происходило потому, что во мне не пробуждалось ни особенного сожаления, какому следовало бы быть при тогдашней беде. Однако не пробуждалось во мне и удовольствия – оттого, что мы, по обыкновению, философствовали, а разговор был и в самом деле философский. Напротив, живо представляя, что Сократ скоро должен умереть, я питал какое-то странное чувство, какую-то необыкновенную смесь удовольствия и скорби. Да и все присутствовавшие были почти в таком же расположении духа: то смеялись, то плакали, особенно один из нас, Аполлодор. Ты знаешь, может быть, этого человека и нрав его.

Эхекрат. Как не знать.

Федон. Так вот, он находился точно в таком состоянии духа; да и сам я был возмущен, и другие.

Эхекрат. А кто тогда находился при нем, Федон?

Федон. Из соотечественников пришли наш Аполлодор, Критобул и отец его Критон, а также Гермоген, Эпиген, Эсхин и Антисфен; пришли еще Ктисипп Пэанский, Менексен и другие соотечественники; а Платон, кажется, был нездоров.

Эхекрат. Были и какие-нибудь иностранцы?

Федон. Да, фиванец Симмий, Кебет и Федонд, а также Эвклид из Мегары и Терпсион.

Эхекрат. А были ли Аристипп и Клеомброт?

Федон. Нет, рассказывали, что они находились в Эгине.

Эхекрат. Кто же был еще?

Федон. Кажется, только эти лица.

Эхекрат. Так что же? О чем говорили?

Федон. Я постараюсь пересказать тебе все с начала. Мы и в предшествующие дни имели обыкновение приходить к Сократу, предварительно собравшись в том месте, где происходил суд, так как оно было близ темницы. Здесь, разговаривая между собою, мы каждый раз ожидали, пока отопрут темницу, ибо отпирали ее не рано; когда же она бывала отперта, входили к Сократу и по большей части проводили с ним целый день. Но в последний раз собрались мы гораздо ранее, потому что, выходя из темницы вечером накануне того дня, узнали, что корабль уже возвратился из Делоса, и дали друг другу обещание сойтись в известном месте как можно ранее. Пришли; но сторож, обыкновенно отворявший нам дверь, вышел и сказал, чтобы мы

подождали и не входили, пока Сократ сам не позовет нас, потому что теперь, прибавил он, одиннадцать судей снимают с него оковы и объявляют, какой смертью в этот день он должен умереть. Спустя некоторое время сторож вышел вновь и приказал нам войти. Входим и видим Сократа только что освобожденным от оков; подле него сидит Ксантиппа (ты, конечно, знаешь ее) и держит дитя. Как только она увидела нас, тотчас подняла вопль и начала говорить все, что говорят женщины, например: О Сократ! Вот друзья твои с тобою и ты с друзьями – беседуете уже в последний раз... Но Сократ, взглянув на Критона, сказал:

– Критон! Пусть кто-нибудь отведет ее домой. Тогда некоторые из Критоновых слуг повели ее, а она кричала и била себя в грудь.

Между тем Сократ, приподнявшись на скамье, подогнул ногу, стал потирать ее рукою и, потирая, сказал:

– Друзья! Как странным кажется мне то, что люди называют приятным! В какой удивительной связи находится оно со скорбью, хотя последняя, по-видимому, противоположна первому! Взятые вместе, они не уживаются в человеке; но кто ищет и достигает одного, тот почти вынуждается всегда получать и другое, как будто эти две противоположности соединены в одной вершине. Если бы такая мысль, продолжал Сократ, представилась Эзопу, то он, кажется, сложил бы басню, что бог, желая примирить столь враждебные противоположности, но не сумев это сделать, соединил их вершины, следовательно, кому досталась одна из них, тот за нею получает и другую. Вот так и сам я – от оков прежде чувствовал в своей ноге боль, а теперь за болью, кажется, следует что-то приятное.

– Клянусь Зевсом, Сократ, – подхватил Кебет, – ты хорошо сделал, что напомнил мне. Меня уже спрашивали и другие, а недавно и Евен о тех стихотворениях, которые ты написал, перелагая рассказы Эзопа, и о гимне Аполлону: что бы это вздумалось тебе писать стихи, пришедши сюда, между тем как прежде ты никогда и ничего не писал? Если, по твоему мнению, мне надобно отвечать Евену, когда он опять спросит меня (а я наверняка знаю, что спросит), то скажи, каков должен быть мой ответ.

– Отвечай ему правду, Кебет, что я написал это, не думая быть соперником ни ему, ни его творениям, ибо знал, что такое соперничество нелегко, но желая испытать значение некоторых снов и успокоить совесть, – не мусическим ли искусством нередко они повелевали заниматься? Дело вот в чем. В продолжение моей жизни нередко повторялся у меня сон, который, являясь в разных видах, говорил всегда одно и то же: Сократ! Твори и трудись на поприще муз! И я в прежнее время всем занимался в той мысли, что к этому располагает и призывает меня сновидение. Как на скороходов имеют влияние зрители, так и на меня, в моей работе, это сновидение, повелевавшее заниматься мусическим искусством; ибо философия, думал я, есть величайшее мусическое искусство, и ею должен я заниматься. Но потом, когда суд был окончен, а Божий праздник препятствовал мне умереть, я подумал: ну что если сон многократно возбуждал меня трудиться над народным видом мусического искусства? Ведь надобно трудиться, а не отвергать внушения, потому что безопаснее умереть, когда, повинувшись сновидению, успокоишь совесть через сочинение стихотворений. Поэтому сначала я написал гимн богу, которому тогда приносима была жертва, а после бога, рассудив, что поэту, если он хочет быть поэтом, надобно излагать не рассказы, а мифы, и не находя в себе способности вымышлять, я переложил в стихи первые попавшиеся мне из тех басен Эзопа, которые были у меня под рукою и в памяти. Так вот что отвечай Евену, Кебет: да пусть он будет здоров и, если рассуждает здраво, пусть скорее бежит за мною. Я, как видно, отхожу сегодня: такова воля афинян. Но Симмий сказал:

– Что ты это, Сократ, советуешь Евену? Ведь я уже много разговаривал с ним, и, насколько понимаю, он охотно никак не послушает тебя.

– Почему же, – возразил Сократ, – разве Евен не философ?

– Кажется, философ, – отвечал Симмий.

– Следовательно, и Евен захочет, и всякий достойно принимающий участие в этом деле. Конечно, он, может быть, не наложит на себя рук, ибо это, говорят, незаконно.

Тут Сократ спустил ноги со скамьи на пол и, сидя в таком положении, продолжал беседовать. Кебет спросил его:

– Ты говоришь, Сократ, что наложить на себя руки незаконно, а между тем философу можно желать следовать за умирающим?

– Так что же, Кебет? Разве ты и Симмий не слышали об этом от Филолая, когда общались с ним?

– По крайней мере ничего ясного, Сократ.

– Впрочем, и я знаю только понаслышке; однако ж, что слышал, того не скрою. Да человеку, собирающемуся перейти в другую жизнь, и весьма прилично, наверное, выдумывать и толковать о ней и о том, какова она будет. Да и стоит ли делать что-нибудь иное сегодня, коротая время до захода солнца?

– Так почему же говорят, Сократ, что лишать жизни самого себя незаконно? Теперешнее твое суждение я уже слышал и от Филолая, когда он жил у нас; знаю и от других, что делать этого не надобно, но ясно ни от кого и никогда не слыхивал.

– Должно сильнее желать, – сказал Сократ, – тогда, глядишь, и услышишь. Может быть, для тебя покажется удивительным, что это одно из всего безусловно справедливо и что не случается, как в прочих делах, чтобы только иным людям и только иногда было лучше умереть, нежели жить, а другим другое. Если же человеку лучше умереть, то ты, вероятно, удивишься, почему бы он поступил нечестиво, благодетельствуя самому себе, и зачем бы ему ожидать другого благодетеля.

Тут Кебет, слегка улыбнувшись, сказал:

– Зевс знает, что он говорит!

– Конечно, с первого взгляда это может показаться бессмыслицей, – заметил Сократ, – однако же в моих словах есть некоторый смысл. Изречение, содержащееся в сократовском учении, что мы, люди, живем в какой-то темнице, а потому сами собою не должны освобождаться из нее и уходить, мне представляется слишком высоким и трудным для рассмотрения; но то, Кебет, по моему мнению, хорошо сказано, что боги суть наши попечители, а мы – одно из их достояний. Или ты не так думаешь, Кебет?

– Так, – отвечал он.

– Но если бы какое-нибудь из твоих достояний, – продолжал Сократ, – захотело умертвить само себя, независимо от твоего разрешения на эту смерть, то не прогневался ли бы ты на него и не подверг ли бы его наказанию, какому можешь?

– Конечно, – отвечал он.

– Значит, благоразумие требует умерщвлять себя не прежде, чем тогда, когда бог пошлет необходимость, в какую теперь поставлены мы.

– Правда, что так, – сказал Кебет, – но кажется странным то твое положение, Сократ, будто философам легко желать смерти, особенно когда мы одобрили мнение, что бог есть наш попечитель, а мы его достояние. Люди мудрейшие не имеют причины не скорбеть, оставляя такое служение, к которому они призваны самыми добрыми распорядителями вещей – богами; ибо не думают ведь они наверняка, что, став свободными, лучше позаботятся о самих себе. Глупый, может быть, и возразит, что надобно бежать от господина, так как не умеет понять, что от доброго бежать никак не должно, а должно тем более оставаться с ним и что побег был бы делом безумным; но мудрому, кажется, естественно желать всегда быть с тем, кто лучше его. Так-то, Сократ; мне представляется противное тому, что сейчас говорил ты: людям мудрым при смерти прилично скорбеть, а радоваться в этом случае свойственно лишь глупым.

Выслушав это, Сократ, казалось, был доволен способностью Кебета к исследованию и, взглянув на нас, сказал:

– Кебет непременно всегда испытывает мысль и с первого раза никак не верит тому, что ему говорят.

– Да и точно, Сократ, – подхватил Симмий, – мне самому думается, что Кебет, по крайней мере теперь, говорит дело; ибо с какой целью люди мудрые могли бы бежать от господ, действительно лучших, нежели они сами, и легкомысленно оставлять их? Его речь, по-видимому, направлена против тебя, так как ты столь равнодушно оставляешь и нас и богов, которых сам же считаешь добрыми властителями.

– Вы правы, – сказал Сократ, – я вижу цель ваших слов: вам хочется, чтобы я защищался против этого обвинения, как в суде.

– Совершенно так, – отвечал Симмий.

– Хорошо, – продолжал Сократ, – постараюсь оправдаться перед вами успешнее, чем перед судьями. Если бы я не думал, Симмий и Кебет, что, во-первых, пойду к иным мудрым и благим богам, во-вторых, к умершим людям, лучшим, нежели эти, то был бы виноват, не скорбя при смерти. Но теперь – знайте, я надеюсь увидаться с добрыми людьми, хотя не смею утверждать это слишком решительно; а что предстану пред добрыми владыками, богами, – это, поверьте, могу доказать столь же решительно, как что-либо другое. Потому-то и не скорблю, а надеюсь, что умершие существуют и что добрым из них, как издревле говорится, гораздо лучше, нежели злым.

– Так что же, Сократ, – сказал Симмий, – питая в уме такую мысль, ужели ты отойдешь, не передав ее нам? Ведь в этом благе, думаю, мы все должны иметь свою долю. Притом вот тебе и оправдание, если убедишь нас в истине своих слов.

– Хорошо, постараюсь, – отвечал Сократ. – Но прежде посмотрим, что такое давно уже, кажется, хочет сказать мне Критон.

– Сказать нечего, Сократ, кроме того, что человек, собирающийся принять яд, беспрестанно твердит мне, чтобы ты как можно менее разговаривал, потому что разговаривающие, по его словам, слишком разгорячаются, а перед принятием яда этого быть не должно: в противном случае иногда бывает нужно повторять прием два и три раза.

– Оставь его, – сказал Сократ, – пусть только готовит свое, чтобы дать мне яд – и дважды, а если потребуется, и трижды.

– Я так и думал, – отвечал Критон, – да он непрестанно докучает мне.

– Оставь его, – сказал Сократ. – Теперь я хочу дать отчет вам, моим судьям, что человек, искренне посвящающий свою жизнь философии, встретит смерть, как мне кажется, мужественно и с надеждой по кончине, за гробом, получить величайшие блага. А как это и почему так будет, Симмий и Кебет, постараюсь высказать. Для иных, должно быть, не заметно, что люди, истинно преданные философии, ничего другого не имеют в виду, как только умирать и умереть. Но если это на самом деле так, то какая же странность – желать этого весь век и скорбеть по достижении той цели, к которой давно стремились и готовились!

Тут Симмий улыбнулся и сказал:

– Клянусь Зевсом, Сократ, ты заставляешь меня смеяться, хотя теперь я вовсе не расположен к смеху. Если бы слышала тебя толпа, то мнение твое о философах показалось бы ей, думаю, очень хорошим и все, по крайней мере у нас, похвалили бы ту мысль, что истинные философы желают умереть, потому что и сами они признают их достойными такого жребия.

– Да и справедливо похвалили бы, Симмий, если бы понимали свою похвалу; но они не знают, умрут ли истинные философы, достойны ли они смерти и какой именно достойны смерти. Оставим пока толпу, – продолжал Сократ, – и будем рассуждать между собою. Почитаем ли мы что-нибудь смертью?

– Конечно, – сказал Симмий.

– Не есть ли она отрешение души от тела? Умереть – не то ли значит, что и тело, отрешенное от души, существует особо, само по себе, и душа, отрешившаяся от тела, существует сама по себе? Иное ли что-нибудь, или это называется смертью?

– Это, а не иное, – отвечал он.

– Смотри же, друг, не то ли покажется и тебе то же, что и мне: ведь отсюда-то мы в особенности разберем предмет своего исследования. Думаешь ли ты, что философу свойственно заботиться о тех так называемых удовольствиях, которые состоят в пище и питье?

– Всего менее, Сократ, – отвечал Симмий.

– Ну а об удовольствиях любви?

– Отнюдь нет.

– Что еще? Думаешь ли, что такой человек считает уважительным всякую другую заботу, относящуюся к телу? Например, ценит он или не ценит приобретение отличной одежды, обуви и иных украшений тела, когда нет большой необходимости приобрести их?

– Истинный философ, кажется, не ценит этого, – сказал Симмий.

– Следовательно, тебе вообще кажется, – продолжал Сократ, – что его деятельность направлена не к телу, что он, сколь возможно, удаляется от него и обращается к душе?

– Кажется.

– Значит, философа можно узнать прежде всего по тому, что он-то особенно, более чем прочие люди, устраняет душу от сообщения с телом.

– По-видимому, так.

– А ведь многим, Симмий, вероятно, представляется, что без подобных приятностей и без участия в них не стоит жить, что не заботящийся об удовольствиях, относящихся к телу, живет близ смерти.

– Ты говоришь очень справедливо.

– Но что думать о приобретении самого разума? Препятствует или нет этому предприятию тело, когда кто-либо берет его в соучастники такого приобретения? Я хочу спросить: представляют ли зрение и слух людям какую-нибудь истину, как беспрестанно щебечут нам об этом те же поэты? Или мы не слышим и не видим ничего определенного? Если же эти чувства неверны и неясны, то прочие и того менее, ибо все они, конечно, хуже этих. Или тебе так не кажется?

– Без сомнения, так, – отвечал он.

– Итак, когда же душа касается истины? – спросил Сократ. – Намереваясь вместе с телом исследовать что-нибудь, она, очевидно, бывает им обманываема.

– Твоя правда.

– Следовательно, ничем, кроме мышления, не открывается ей ничего существенного?

– Да.

– Но мыслит она лучше, вероятно, тогда, когда ничто не беспокоит – ни слух, ни зрение, ни печаль, ни удовольствие, когда, оставив тело и, сколько возможно, удалившись от общения с ним, она бывает совершенно одна, сама по себе, и стремится к сущему.

– Так.

– Значит, здесь душа философа вовсе не ценит тела и, убегая от него, старается быть сама собой?

– Думаю.

– А что скажешь на следующие вопросы, Симмий? Называем ли мы что-нибудь справедливым или не называем?

– Называем, клянусь Зевсом.

– Равным образом – хорошим и добрым?

– Как же иначе?

– Но такие вещи видел ли ты когда-нибудь глазами?

– Вовсе нет, – отвечал он.

– А касался ли их каким-нибудь другим ощущением тела (я имею в виду все подобное, а именно величину, здоровье, силу – одним словом, сущность всего, то есть то, что представляет сам по себе каждый из этих предметов)? Телом ли созерцается истинная сторона их, или бывает так, что тот, кто более и основательнее приготовлен к разумному постижению рассматриваемого предмета, тот ближе и к познанию его?

– Без сомнения.

– А подобный результат не тот ли обретет лучше, кто будет обращаться к каждому предмету именно одной мыслью, не присоединяя к размышлению зрения и не увлекая за умом никакого другого чувства; кто будет пользоваться просто мыслью, самой по себе, и постарается уловить каждое сущее, само по себе, непременно отказавшись и от глаз, и от ушей, и, так сказать, от всего тела, поскольку своим участием оно возмущает душу и не позволяет ей приобрести истину и разумение? Не подобный ли человек более, Симмий, чем кто-либо другой, постигает сущее?

– Ты, Сократ, говоришь чрезвычайно справедливо, – сказал Симмий.

– Но из всего этого, – продолжал Сократ, – не должно ли образоваться некоторое определенное мнение у людей, сознательно философствующих, и не будет ли оно подобно следующему их рассуждению между собой: Вероятно, есть какая-то стезя, которая в деле исследования ведет нас к мысли, что мы никогда не приобретаем вполне того, чего желаем и что называем истиной, пока облечены в тело и пока наша душа смешана с этим злом. В самом деле, тело запутывает нас в бесконечные хлопоты из-за того уже, что ему необходима пища; а иногда к нему пристают еще и болезни, возбраняя нам восхождение к сущему. Тело также наполняет нас сладострастием, желаниями, страхом, различными призраками и многими пустяками, поэтому действительно правду говорят, что под влиянием тела и размыслить о чем-нибудь некогда. Да и войны, и бунты, и битвы откуда происходят, как не от тела и его желаний? Ведь все войны воспламеняются ради приобретения имущества, а имущество мы вынуждены приобретать в пользу тела, которому рабски служим. Таким образом, для философии у нас и не остается времени. Но после всего если и предоставляется нам какой досуг и мы обращаемся к рассмотрению чего-либо, то во время исследований тело непременно опять припутается, произведет шум, замешательство и тревогу, так что мы не можем уже видеть истину, а только соглашаемся с тем, что, когда хотим что-нибудь узнать беспримесным образом, должны отвязаться от тела и созерцать сами вещи самой душой. Значит, разумение, которое мы почитаем предметом своего желания и любви, приобретается, по всей вероятности, тогда, когда мы умираем, а в жизни мы его не найдем. Дело в том, что если с телом нельзя ничего узнать чисто, то выходит одно из двух: знание или никогда не возможно, или возможно по смерти, так как по смерти, а не прежде душа будет существовать сама по себе, без тела. Живя же, мы только в той мере станем ближе к знанию, насколько нам удастся оградить себя, кроме крайней необходимости, от обращения к телу и сообщения с ним и от осквернения его природой, насколько нам удастся очищаться от него, доколе сам бог не отрешит нас. Став, таким образом, чистыми через отрешение от бессмысленности тела, мы, вероятно, сойдемся и с подобными нам существами и сами собою узнаем все простое (а простое, наверное, и есть истина), ибо нечистым касаться чистого едва ли позволено. Это-то, Симмий, и должны говорить друг другу и проповедовать все, кто по-настоящему любознателен. Или тебе так не кажется?

– Именно так, Сократ.

– Если же так, друг мой, – продолжал Сократ, – то, отходя туда, куда отхожу я, можно смело надеяться, что там скорее, чем где-нибудь, мы приобретем то, ради чего так много трудились в протекшей своей жизни. Поэтому предписанное мне теперь переселение сопряжено с доброй надеждой для всякого, кто уверен, что его ум как бы очищен и приготовлен.

– Без сомнения, – сказал Симмий.

– А очищение не в том ли состоит, как мы давно говорим, чтобы душа наиболее отделилась от тела и привыкала из всех частей его собираться и сосредоточиваться в самой себе, чтобы, по мере возможности, и в настоящее время, и после жила она сама собой, освободившись от тела, как из темницы?

– Без сомнения, – отвечал он.

– Но не это ли именно, не отрешение ли и отделение души от тела, называется смертью?

– Разумеется, – сказал он.

– Отрешить же ее, мы говорим, стараются преимущественно те, кто истинно философствуют, поскольку занятие философов в том и состоит, чтобы отрешать и отделять душу от тела. Или нет?

– Так.

– Итак, не смешно ли было бы, как я говорил сначала, если бы человек, своей жизнью готовясь стать сколь можно ближе к смерти, начал скорбеть, когда смерть пришла бы к нему? Не смешно ли это было бы?

– Как не смешно?

– И в самом деле, Симмий, люди, истинно философствующие, стремятся умереть, и смерть им менее страшна, чем кому-либо. Посмотри на следующее: предположим, некто непрестанно досадует на свое тело и желает иметь душу саму по себе, а когда это происходит – боится и скорбит. Так не безумен ли этот человек из-за того, что без радости отходит туда, где есть надежда достичь цели желаний всей жизни (а предметом желания было разумение) и освободиться от сотоварища, на которого он досадует? Многие разлученные смертью с людьми, которых они любили – с женою, с детьми, – охотно согласились бы сойти в преисподнюю в той надежде, что там увидятся и будут вместе с милыми существами: зачем же скорбеть и пребывать в печали умирающему, если он действительно любит разумение и сильно проникнут той надеждой, что оно нигде не приобретает столь совершенно, как в преисподней? А ведь это так, друг мой, – лишь бы умирающий был истинным философом; ибо ему ясно представляется, что чистое разумение для него нигде так не доступно, как в преисподней. Если же сказанное мною сейчас справедливо, то не великое ли было бы безумие такому человеку бояться смерти?

– В самом деле великое, клянусь Зевсом, Сократ, – отвечал Симмий.

– Итак, не есть ли это для тебя достаточный признак того, – сказал Сократ, – что человек, скорбящий при смерти, был любителем не мудрости, а тела? Любитель же тела, известно, любит и деньги и славу, то есть либо что-нибудь одно из двух, либо то и другое.

– Конечно, бывает так, как ты говоришь, – отвечал он.

– А не правда ли, Симмий, что людям с философским складом очень свойственно и так называемое мужество?

– Непременно, – сказал он.

– Не им ли одним, уничтожителям тела, проводящим жизнь в философии, свойственна и рассудительность, которую многие полагают именно в том, чтобы не увлекаться желаниями, но вести себя скромно и благочинно?

– Необходимо, – отвечал он.

– Ведь если ты захочешь представить себе мужество и рассудительность не в таких людях, – продолжал Сократ, – то они покажутся тебе чем-то странным.

– Почему же, Сократ?

– Знаешь ли, – отвечал он, – что смерть, по мнению всех других, есть одно из великих зол?

– И очень.

– Значит, те мужественные, когда подвергаются смерти, подвергаются ей из страха более великих зол?

– Правда.

– Следовательно, все, кроме философов, бывают мужественны из боязни и страха. А быть мужественным по причине страха и робости в самом деле странно.

– Без сомнения.

– Что еще? Не таковы ли и благонравные между ними, то есть не из невоздержанности ли они рассудительны? Мы хоть и говорим, что это невозможно, однако же при такой нелепой рассудительности им свойственно нечто подобное, потому что, боясь лишиться одних удовольствий и желая их, они из угождения им воздерживаются от других. Служение удовольствиям называется, конечно, невоздержанностью; и, однако же, служа одним удовольствиям, они одерживают верх над другими; а это и походит на сказанное нами, что они бывают рассудительны как бы через невоздержание.

– В самом деле походит.

– Между тем для добродетели, добрый Симмий, был бы верным не тот обмен, когда удовольствия меняются на удовольствия, скорби на скорби, страх на страх, большее на меньшее, будто монеты. Нет, настоящая монета, на которую надобно менять все, здесь одна – разумение; ею и за нее покупаются и продаются действительно и мужество, и рассудительность, и справедливость, и вообще истинная добродетель, независимо от того, чувствуется ли при этом удовольствие либо страх и прочее тому подобное или не чувствуется. Когда же текачества отделены от разумения и промениваются одно на другое – подобная добродетель не будет ли обманчивым призраком, в сущности делом рабским, не заключающим в себе ничего здорового и истинного? Не является ли истинным на самом деле очищение от всего такового? Не должно ли назвать и рассудительность, и справедливость, и мужество, и самое разумение некоторым очищением? Надобно полагать, что и учредители таинств были неплохими людьми, коль скоро давно уже намекнули нам, что тот, кто сойдет в преисподнюю непосвященным и несовершенным, будет лежать в тине, а очищенный и совершенный, пришедши туда, станет жить с богами.

Служители таинств говорят, что носителей Бахусовых жезлов много, да Бахусов мало. А эти, по-моему мнению, суть не кто иной, как истинные философы. От нихто и я, сколь мог, не отставал в своей жизни, но всячески старался присоединиться к ним. Было ли старание мое правильным и успешным – узнаем, пришедши туда, – узнаем, как мне кажется, скоро, если будет угодно богу. Вот мое оправдание, Симмий и Кебет, – прибавил Сократ. – Я справедливо не жалуюсь и не скорблю, оставляя вас и здешних господ, ибо надеюсь, что и там, не менее чем здесь, встречу с добрыми господами и друзьями, хотя толпе в это и не верится. Прекрасно было бы, если бы мое оправдание убедило вас более, нежели афинских судей.

Против этих слов Сократа Кебет возразил:

– Обо всем прочем, Сократ, ты говоришь хорошо; но что касается души, то люди в этом отношении очень сомневаются: существует ли она где-нибудь по отрешении от тела или разрушается и уничтожается в тот самый день, в который человек умер, то есть, отрешившись от тела и вышедши из него, рассеивается, как воздух или пар, тотчас улетает, и уже нигде от нее ничего не осталось. Конечно, если бы она в самом деле сосредоточивалась в себе и избавилась от тех зол, о которых ты теперь рассуждал, то мы имели бы великую и прекрасную надежду, что слова твои, Сократ, истинны. Но для этого потребуется, может быть, немало убеждений и удостоверений, что душа умершего человека существует и что в ней сохраняются какая-то сила и разумение.

– Правда, Кебет, – сказал Сократ. – Так что же делать? Не хочешь ли, потолкуем, верна моя мысль или нет?

– Что касается до меня, – отвечал Кебет, – то я с удовольствием послушал бы, каково твое мнение на этот предмет.

– Мне кажется, никто, – сказал Сократ, – даже и писатель комедий, слушая меня в эту минуту, не скажет, что я пустословлю, веду речь не о том, о чем должно. Итак, если хочешь, надобно исследовать. А исследуем, существуют ли души умерших людей в преисподней или

нет, вот каким образом. Есть Предание, самое древнее, какое только помним, что, переселившись туда, они живут там и потом опять приходят сюда и происходят из умерших. Если это справедливо, то есть если живые происходят из умерших, то как же не существуют наши души там? Ведь, не существуя, они не произошли бы; и мы имели бы достаточный признак тамошнего их существования, если бы для нас в самом деле было ясно, что они перешли в жизнь не откуда более как из умерших; а когда этого нет, то нужно какое-нибудь иное доказательство.

– Без сомнения, – сказал Кебет.

– Впрочем, чтобы легче понять это, понаблюдай не только за людьми, – продолжал Сократ, – но и за всеми животными и растениями, вообще за всем, в чем мы видим возникновение. Не так ли обычно бывает, что противное происходит из противного, если ему есть что-нибудь противоположное, как, например, похвальное – постыдному, справедливое – несправедливому, каковых противоположностей бесчисленное множество? Рассмотрим-ка, не необходимо ли, чтобы вещи, противоположные чему-нибудь, происходили не из чего более как из противоположного себе? Если, например, что-нибудь сделалось большим, то не необходимо ли надлежало этому сперва быть меньшим, а потом возрасти до большего?

– Да.

– А когда что-нибудь есть меньшее, то сперва оно, конечно, было большим, потом уже стало меньшим?

– Так, – сказал он.

– Подобным образом из сильнейшего происходит слабейшее, из быстрейшего медленнейшее.

– Без сомнения.

– Что же далее? Если вещь сделалась хуже, то не из лучшей ли?

– Из чего же иначе?

– Значит, мы удовлетворяемся тем положением, – заключил Сократ, – что все происходит так – противное из противного?

– Без сомнения.

– Но что еще? Нет ли чего-нибудь занимающего середину между всеми парами противоположностей, так как при двух противоположностях бывает два перехода: от первого противного во второе и от второго в первое? Например, между большим и меньшим есть и возрастание и умаление, и мы говорим, что одно растет, другое умалется.

– Да, – отвечал он.

– Значит, и разделяться, и смешиваться, и охлаждаться, и согреваться – все происходит таким же образом. Хотя словами мы иногда и не выражаем этого, однако же на деле необходимо, чтобы одно взаимно происходило из другого и чтобы переход был обоюдный.

– Конечно, – сказал он.

– Что же теперь? – продолжал Сократ. – Жизни противопоставляется ли нечто так, как бодрствованию – сон?

– Без сомнения, – отвечал он.

– А что именно?

– Смерть, – сказал он.

– Следовательно, жизнь и смерть, если они взаимно противоположны, происходят обоюдно и между ними двумя бывает двоякое происхождение?

– Как же иначе?

– Итак, я, – сказал Сократ, – приведу тебе одну из таких пар, о которых сейчас упоминал, и укажу на ее переходы, а ты приведи другую. Я говорю: сон и бодрствование и утверждаю, что из сна бывает бодрствование, а из бодрствования – сон; происхождение же их называется дремать и пробуждаться. Довольно для тебя или нет? – спросил он.

– Вполне довольно.

- Скажи же и ты о жизни и смерти. Не говорил ли ты, что жизнь противоположна смерти?
- Говорил.
- И они возникают одна из другой?
- Да.
- Что же возникает из живущего?
- Умершее, – сказал он.
- А потом из умершего? – спросил Сократ.
- Необходимо согласиться, что живущее, – отвечал Кебет.
- Значит, из умерших, Кебет, бывают вещи живые и существа живущие?
- Кажется, – сказал он.
- Следовательно, наши души находятся в преисподней? – заключил Сократ.
- Вероятно.
- Равным образом и из двух происхождений не явно ли по крайней мере одно? Например, умирание явно или нет?
- Конечно, явно, – отвечал он.
- Так что же нам сделать? – продолжал Сократ. – Не придать ли ему происхождение противоположное? Неужели в этом отношении природа хрома? Умиранию не необходимо ли противоположить какое-нибудь происхождение?
- Какое же?
- Возрождение. Но если есть возрождение, – продолжал Сократ, – то оно, это возрождение, не будет ли переходом мертвых в существа живущие?
- Конечно, будет.
- Значит, мы согласились и в том, что существа живущие возникают из мертвых не в меньшей степени, чем умершие из живущих? А если так, то, кажется, мы имеем достаточный признак того, что души умерших необходимо должны где-нибудь существовать, откуда могли бы снова произойти.
- Из признанных положений, Сократ, твой вывод, по-видимому, следует необходимо.
- И заметь, Кебет, – сказал он, – что эти положения мы признали, думаю, не безрассудно. Ведь если не противопоставить одного положения другому так, чтобы они совершали круг, но допустить происхождение только в одностороннем направлении – от противного к противному, не поворачивая ее снова от последнего на первое, – то знай, что наконец все будет иметь один и тот же вид, все придет в одно и то же состояние – и возникновения прекратятся.
- Как это ты говоришь? – спросил тот.
- Мои слова понять нетрудно, – отвечал Сократ. – Если бы, например, засыпание существовало, а противоположного ему, пробуждения от сна, не было, то, знаешь, сказание об Эндимионе¹ показалось бы наконец пустым и потеряло бы смысл, потому что и все прочее, подобно ему, находилось бы вечно в состоянии сна. Когда же бытия только смешивались бы, а не разделялись – вскоре вышло бы Анаксагорово: Все вещи вместе. Так-то и здесь, любезный Кебет: если бы живущее умирало и, умерши, сохраняло свой образ смерти, а не оживало снова, то необходимо ли, чтобы наконец все умерло и ничто не жило? Пусть одно живущее происходит от другого; но как скоро оно умирает, то каким способом и всему не стать жертвою смерти?

¹ Возлюбленный богини луны Селены, который был погружен в вечный сон.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.